

OP82
P62

Op 82
P62

108



РОЖДЕННЫЕ В ПЛАМЕНИ

Op82
P62

+Op232 (9)

+Op82
+Op82

РОЖДЕННЫЕ В ПЛАМЕНИ

978408



866648

~~Тульская
областная
библиотека
им. В. И. Ленина~~

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
БИБЛИОТЕКА им. Н. И. КРУПНОЙ

ОРЕНБУРГСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1958

В ТЕ ГОДЫ

ПОВЕСТЬ

БАТРАЧОНОК

Когда сельский писарь Гаврил Иванович, зайдя в дом Луневых, прочитал хозяйке небольшой, исписанный четким почерком квадратик казенной, со штемпелем, бумажки о том, что «14 мая 1915 года рядовой Н-ского полка Федор Лунев погиб смертью храброго воина за веру, царя и отечество», — Авдотья на мгновение остолбенела, затем всплеснула руками и грузно повалилась на пол. Микишка, сын Авдотьи, испуганными глазами долго смотрел на мать и не мог понять, что же произошло? Он подошел к писарю и, дергая его за рукав пиджака, каким-то таинственным голосом спросил:

— Тятьку, говоришь, убили? За что?

Гаврил Иванович потрепал русоволосую голову Микишки и по-своему объяснил:

— Это уж, милоч, так заведено: убили — значит за царя.

— Микитушка, — заголосила, очнувшись, Авдотья, — сироты мы разнесчастные... — По ее лицу текли обильные слезы. — Как же мы теперь будем жить?

А что мог сказать в ответ Микишка плачущей матери? У него самого градом катились непрошенные слезы.

...Через неделю Авдотья с сыном пришла к Ермилу Тихоновичу Рублеву — первому хозяину в Алексеевке.

Правда, внешне Ермил Тихонович не производил впечатления богатея. Ходил он в самотканых портках и рубаше, в холод надевал заплатанный нагольный полушубок. Зато полдеревни работало на этого длиннущего, с редкой козлиной бородкой, сухонького мужика. Отец Микишки перед уходом на войну тоже чертоломил у него. А теперь вот Авдотья и сына привела к Ермилу Тихоновичу.

— Сколь годов ему? — полюбопытствовал хозяин, оглядывая щупленькую фигуру подростка.

— Пятнадцать...

— Маловат. Ну да в моем хозяйстве найдется дело и ему, — снисходительно сказал Рублев, — за быками ходить будешь. Только у меня!.. — И он, сверкнув злыми глазами, погрозил Микишке.

Тягучими будничными днями перелистывалась Мишкина жизнь у Рублева. В тяжелой, непосильной работе перепутались воскресенья с понедельниками, дни с ночами. «Почему не по-правильному свет стоит? — думал иногда Микишка. — Почему Рублев сам не работает, а какой богатющий: скота у него полон двор, лавка бакалейная с пряниками, тятка же как ни работал, а ничего у нас нет, да еще вот убили его... Писарь говорит — за царя. А почему надо за царя убивать?» Цепь неясных волнующих мыслей рождалась мальчишечьей голове, но разгадать их самому не хватало сил, пока не прокатился по Алексеевке Великий Октябрь, перевернувший всю жизнь деревни другой, ясной и отчетливой стороной.

Не стало у Мишки вчерашней покорности хозяйским окрикам. Он постепенно находил разгадку тому, «отчего неправильно свет стоит». Часто уходил на целые вечера, а то и на всю ночь к большевику Глебу Кречетову, вернувшемуся в деревню с фронта. Алексеевцы избрали его председателем комитета бедноты. Любил Микишка слушать простые, берущие за сердце рассказы Глеба о войне, революции, о Ленине, которого посчастливилось ему видеть и слышать в Питере, о новой, Советской власти, о том, что молодежь теперь объединяется в организацию, которая зовется РКСМ.

Однажды Глеб посоветовал Микишке собрать молодежь Алексеевки и тоже организовать РКСМ. Эта мысль настолько овладела им, что он на другой же день прошел всю деревню, собирая своих сверстников и сверстниц на первое в истории Алексеевки молодежное собрание.

Глеб Кречетов предоставил для собрания свою мазанку. Сам сделал доклад о РКСМ и текущем моменте. Затем начали записываться в РКСМ. Все шло гладко и единогласно. Но когда к столу подошла девушка в опрятном коричневом платье, с бледно-розовой лентой, вплетенной в короткую светлую косу, Микишка запротестовал:

— Пусть сначала докажет, что она с нами.

Это была дочь местного учителя, Аня. Микишка знал ее, любил за то, что она не раз приносила ему в поле, где он работал на рублевских быках, книжки, но «для РКСМ, думал он, у нее кишка еще тонка. Известно — барышня!»

Аня выслушала «доводы» Микишки и, покидая Глебову мазанку, чуть не плача, с чувством нескрываемой обиды процедила сквозь зубы:

— Эх ты, батрачонок! погоди, я докажу тебе...

С тех пор и утвердилась за Микишкой эта обидная кличка «батрачонок». Ермил Тихонович не раз издевался над ним, говоря:

— Эй ты, батрачонок! Старый мир собираешься рушить? На-ка, выкуси! — И, тыча кукишем в лицо Микишки, свирепел: — Голь паршивая!

А вскоре произошло следующее. Микишка, ставший председателем Алексеевской ячейки РКСМ, вместе с другими комсомольцами выехал в помощь продотряду, который вел неравную борьбу с вооруженными кулацкими бандами Охранюка. Три дня пропадал Микишка, и вдруг вот он, идет по Алексеевке невредимый, с винтовкой за плечами, да не один, а с продармейцем! И идет не куда-нибудь, а к Ермилу Тихоновичу.

— Это что же, товарищ Лунев, — затараторил вдруг приторно ласковым тоном Рублев, встречая Микишку с товарищем, — в гости, что ли? Посидеть — милости прошу, а покормить вот нечем... выскребли товарищи до крошки, нам теперь со старухой впору по миру идти. Так что, Микит Федорыч, извиняй...

— Чайком вот рази морковным попотчевать, если не безгуετε, — вмешалась Агриппина Тимофеевна, жена Рублева, баба дородная, с лицом, усеянным бородавками, одетая во все черное, как монахиня. — Пойду-ка я похлопочу с самоваром.

— Не старайтесь, — отрезал Микишка. — Не с тем наведались к вам, да и время сейчас не такое, чтобы чаевничать.

— Аль что случилось? — осведомился Ермил Тихонович, нацелившись тревожными глазами на Микишкину винтовку. — В деревне у нас быдто спокойно, бог миловал. Округ, правда, Охранюк какой-то объявился, грозится большевикам. Да ведь он супротив вас какой же вояка! У вас вон и ружья настоящие, солдатские, а он невесть на что и надеется...

— На вас, — оборвал Микишка скрипучую, с явной издевкой речь Рублева.

— Да что это вы, Микит Федорыч! — Рублев вдрут перешел на вы. — Моя хата с краю. Мне теперь со старухой о царствии небесном думать надо, а чья власть утвердится — для нас все едино, даже, наоборот, с вами-то вроде способнее.

Микишке противно было видеть нарочитое пресмыкательство Рублева и слушать его плохо замаскированную ложь. Уж кто-кто, а батрачонок хорошо знал неистребимую ненависть Рублева к нему, Микишке, к Глебу, к людям, которые впервые за свою жизнь начали расправлять спины и чувствовать себя хозяевами на алексеевской земле.

Ненужный, вызывающий тошнотное состояние разговор с Рублевым Микишка оборвал как-то сразу, точно плохо пришитую пуговицу от пиджака.

— Хлеб почему не сдаешь в продразверстку?

Ермил Тихонович приподнял мохнатые брови, злым огоньком выцветших серых глаз стрельнул в батрачонка.

— Это какой же хлеб, Микит Федорыч? Сказываю тебе: товарищи все забрали.

— Пойдем проверим, — сказал Микишка, обращаясь к продармейцу.

За ними рысдой побежал и Ермил Тихонович. Возле бакалейной лавки Микишка остановился и угрожающе посоветовал Рублеву:

— Вот здесь, в эту яму ты еще при мне припрятывал хлеб. Сдай сегодня же. Не сделаешь этого — пеняй на себя!

Не стерпел Ермил Тихонович — зло прошипел:

— Вывезу, душегубы. Но и тебе, анафемова душа, не сдобововать. При-пом-ню!..

И припомнил...

Банды Охранюка орудовали где-то рядом с Алексеевкой. Ночными воровскими наскоками опустошали деревни,

расправлялись с коммунистами и комсомольцами, пытаюсь задушить молодую, еще не окрепшую Советскую власть.

Вечером у Глеба в мазанке состоялось секретное заседание оперативной тройки, в которую входили: Глеб Кречетов, Никита Лунев и продармеец Петр Ломов, комсомолец из Оренбурга, прибывший в Алексеевку из продотряда. Обсуждали вопрос о том, как быть, если охранюковская банда налетит на село.

— Биться до последнего! — безапелляционно заявил Микишка. — Через день-два сюда придет наш продотряд. Это время как-нибудь продержимся.

Петр Ломов поддержал товарища. Глеб, помолчав с минуту, встал, прошелся по земляному полу мазанки, потрепал выцветшую, похожую на старый ковыль шевелюру Никиты.

— Горяч ты, парень, — заговорил спокойно Глеб, — «биться до последнего». А много ль нас? Ты, Петя вот... да еще с пяток твоих комсомольцев. Беднота, конечно, поддерживает нас. А оружие где? На троих одна винтовка. Лезть с такими силами на рожон — побьют и не только побьют, а перебьют, как ты говоришь, до последнего. Толку что от этого? Надо бить врага наверняка. Не хватает сил — погоди, отступи...

Микишка все-таки никак не мог согласиться с тем, чтобы вот сейчас, не видя еще врага перед собой, не схватившись с ним в открытом бою, вдруг отступить, уйти из Алексеевки, оставив ее на милость Рублева.

— Товарищ Кречетов, — осторожно перебил Глеба Лунев. — Может, вы и правильно говорите... Но что делать?

— О предложениях потом. Я хочу сказать еще кое-что. Это нужно вам знать. — Ребята насторожились. — У Охранюка, как мы разведали, двести сабель. Действует он отдельными отрядами в тридцать-пятьдесят человек, рассчитывает на поддержку кулаков. На кого он может рассчитывать у нас?..

— Известно: на Рублева, — вставил Микишка.

— И не только на Рублева, — продолжал Глеб. — А поп, наш святейший Ипатий? А Кузьма Пьянов? А Фома Синица... Это все ягодки одного поля. Они вот сейчас ночами собираются у Рублева, надо думать, не для церковного песнопения. От них-то и жди удара в спину.

— А теперь, — присаживаясь рядом с Микишкой, сказал Глеб, — давайте обсудим, что нам делать?

Петя и батрачонок молчали. Кречетов предложил свой план действий: если на Алексеевку нападет небольшая группа охранюковцев, — дать по зубам, если налетит большой отряд, — уйти за реку, а оттуда в Судьбодаровку, где находился продотряд. По ночам охранять подступы к селу. На северной околице его, где живет Глеб, дежурить будет группа комсомольцев во главе с Кречетовым, на южной — другая во главе с Микишкой.

...Эта ночь разбушевалась невиданной силы ураганом и хлестким дождем. Ветер рвал крыши домов, хлопал ставнями, жалобным стоном врывался в трубы. Село как вымерло. Только в крайней маленькой хатенке мигал еле заметный огонек. Авдотья, мать батрачонка, не спала, тревожилась, поджидая сына. На столе жадно облизывал остатки соляной жижи тряпичный фитилек.

Микишка зашел домой переодеться — промок до нитки.

— Мама, ты не жди меня, спи. Я вот переоденусь и опять уйду.

— Куда же ты, сынок, в такую непогоду?

— Да мы вот тут рядом, охранюков сторожим...

— Какие теперь охранюки, — запротестовала мать. — Чуешь, что творится на улице? — Ее бледное, усталое лицо на мгновение озарила молния. Ударил гром. — Не ходи, поспи, сынок... — уговаривала мать.

Микишка сменил мокрую гимнастерку на самотканную рубаху, надел старенькие, залатанные матерью штаны и сразу почувствовал расслабляющую теплоту. Клонило ко сну. Сидя дома, он забыл об опасности, которая грозила ему и его товарищам в эту беспокойную ночь.

Дремота оборвалась внезапным выстрелом. «Что это?» — подумал Микишка. Раздался еще один выстрел, другой. Послышались шлепки по грязи лошадиных копыт. Кто-то орал ошалело пьяным голосом:

— А ну, коммунисты, выходи!

Никита быстро схватил стоявшую в углу трехлинейку, второпях набросил через плечо брезентовый патронташ и опрометью из избы. Но он не успел выбежать на улицу. Кто-то еще в дверях плетневых сенцев чем-то крепким и тяжелым ударил его по голове.

Все это произошло так быстро и неожиданно, что Авдотья, задремавшая под барабанный стук дождя в окна, не могла понять случившегося.

— Микиша, сынок, — запричитала она, — стреляют?

Тряпичный фитилек, вылизав остатки жира в блюде, потух, в избе было темно и пусто. Никто не откликнулся на тревожный вопрос матери, и она, предчувствуя беду, с диким криком кинулась в сенцы. Но и здесь — никого, двери открыты настежь. Босыми ногами попала в образовавшуюся от дождя лужу, не помня себя, стал ощупывать ее руками, продолжая твердить: «Микишенька, сыночек, где же ты, родненький?» В руки попало что-то твердое. Подняла, взгляделась и неизвестно для чего захватила с собой в избу.

Очнулся Микишка уже в бане Ермила Тихоновича Рублева. Тот стоял перед ним с оскаленными в ехидной усмешке зубами и торжествующе скрипел:

— Вот и посчитались, батрачонок, анафемова твоя душа. Ты у меня теперь, как птаха в силке, — не уйдешь. Охранюк-то всю вашу шатию израсходовал. Первому Глебке Кречетову непутевую голову снесли. Ловко?.. Ну, а с тобой утресь займутся молодчики...

Хотел Микишка плюнуть в расплывшуюся от удовольствия рублевскую рожу да захлебнулся чем-то липким и соленым. Только и мог прохрипеть:

— Гад... контра. Уйди!

В просторной рублевской избе заливались пьяными голосами охранюковцы. У дверей бани, где сидел Микишка, дремал захмелевший конвоир. «Кончилась моя жизнь, — думал Микишка в забытьи. — Обидно только, что ни одну контру не успел уложить... Кто же это меня оглушил?.. Значит, и Глеб погиб? А комсомол? Что с Петей, с ребятами? А как же теперь мамка?»...

— Батрачонок! — вдруг услышал он осторожный оклик. — Где ты? Жив?

«Что за привидение?» — думал Микишка, вглядываясь в темноту.

— Это я, я... — снова раздался так странно знакомый голос.

— Аня!? — И Микишка всем больным телом подался навстречу.

— Скорее, скорее, — шептала Аня...

Ночь была уже на исходе. Затих ветер и разбежались тучи. На бледном от занимающейся зари небосводе висел омытый дождем серп ущербленной луны. По реке тихо скользила лодка с таинственными силуэтами беглецов. Аня

осторожно работала веслом. Мишкишка смотрел на нее благодарными глазами. Ему хотелось сказать ей много ласковых слов, а сказал так мало и не к месту:

— А я думал, ты не такая... Значит, ошибся.

ПАРЕНЬ ИЗ ГОРОДА

Поезд пришел на станцию с опозданием. Идти пешком в Алексеевку ночью далеко и небезопасно. «Пойду в заезжую, — решил Михаил, — там переночую, а утром, если не найду попутную подводу, уйду пешком».

Он вспомнил, как четыре года назад в этом самом заезжем доме, всегда набитом ожидающими поезда пассажирами, провел ночь перед отъездом в город. Провожал его сам Ермил Тихонович.

— Вот, — в сотый раз напоминал ему Рублев, — своих детей нет, чужих в люди вывожу. Ты это чувствуй. Мои, Рублева, рублики-то пойдут на твою образованность.

Отец Михаила, родной брат жены Ермила Тихоновича, умер, когда сыну было два года. Мать вскоре сошлась с каким-то проезжим чиновником и уехала с ним неизвестно куда. Рублевы взяли мальчишку к себе. Здесь он рос, воспитывался, и, когда парню стукнуло 16 лет, решил Ермил Тихонович учить его, чтобы потом дело рублевское поставить на широкую ногу. Где, чему будет учиться Мишка, Ермил Тихонович понятия не имел. Он дал ему на дорогу двести рублей и строго-настрого приказал:

— Сам выбирай, какой тебе нивирситет нужен, я в этих делах слеп. Но чтобы обратно приезжал с головой.

Пробыл Мишка год в гимназии — выгнали за неуспеваемость. Поступил к купцу Панкратову приказчиком — здесь и застрял. В письмах же Ермилу Тихоновичу писал: «Учусь всяким полезным наукам, даже отдохнуть некогда». Рублев аккуратно, каждый месяц посылал приемышу по десяти рублей, с обязательной припиской на переводе: «Чувствуй, сукин сын, чьи деньги тратишь на свою образованность».

Грянула революция. Рассыпалось, как карточный домик, дело Панкратова и К^о. Мишка целыми днями слонялся по городу, слушал речи разных ораторов. Примкнул было к кадетам — не понравилось. Ходил в клуб эсеров. Побывал в Самаре, когда там хозяйничали чехословаки из мятежного корпуса. А потом вдруг решил поехать домой.

В заезжей на этот раз было немного людей, и среди них Михаил узнал алексеевского мельника. Тот сидел за столом, чаевничал. На круглом сытом его лице, обрамленном густой рыжей с проседью бородой, обильно выступал пот. Вытирая его рукавом сатиновой рубахи, он приговаривал:

— Господи боже, спаси и помилуй... Еще чашечку!

— Фома Ильич, никак, — заговорил Михаил.

— Я паки и есть Фома, сын Ильин, в миру — Синица, — мудрено ответил тот. — А что за чадо зрю? — не отрываясь от чая, спросил он вошедшего.

Фома Ильич Синица по зажиточности не уступал Рублеву. Помимо водяной мельницы, он имел небольшой поташный заводик. За копейки скупал у крестьян окрестных деревень подсолнечную золу, перерабатывал ее на поташ и выгодно продавал в городе. Слыл он в Алексеевке набожным человеком. Кроме евангелия и всяких житий святых, ничего не читал. Но на руку был до смешного нечист. Увидит на чужом дворе пустяковую палку — и ту возьмет. Законную жену за общительный характер и склонность к расточительству жестоко бил, пока не прибил до смерти. Привез потом из города девку Зинку. По слухам, Фома Ильич взял ее из публичного заведения за неопишемую красоту. Зинка действительно была красавицей: лицо сахарно-белое с черными, точно слива, глазами и небольшим с горбинкой носом. Мельник оберегал ее, как драгоценнейшую редкость. На улице она появлялась только с ним. Он не боялся того, что в Алексеевке осудят его за такое распутство. Шутка ли: девка ему, старому черту, во внуки годится. Зато поп Ипатий, будучи у мельника на званом обеде по случаю водворения в его доме городской красотки, отнесся покровительственно к этому факту и, глядя плутовскими глазами на Зинку, в душе позавидовал Фоме Ильичу.

Михаил отрекомендовался приемным сыном Ермила Тихоновича Рублева.

— Господи боже! Он и есть, — вылезая из-за стола, Фома Ильич оглядел парня с головы до ног. — Куда же это путь держите, позвольте спросить?

— В Алексеевку.

— Значит, попутчик?

Условились ехать сейчас же, ночью. Фома Ильич быстро допил чай, вышел и запряг своего жеребца, положил в

тарантас мешок соли и, показывая на него, объяснил:

— Тут, брат, по теперешним временам — тысячи. Спасибо, на станции один снабжает меня. Этим добром и живу. Землицу большевики поделили поровну со всеми дармоедами. Завод я закрыл, мельницу забрали у меня, ни на меня, ни на большевиков не работает — стоит, — разговаривался Фома Ильич.

Выехали на большак. Густая осенняя ночь окутала степь непроницаемым покрывалом. Лошадь шла мелкой рысцой, хозяин не торопил ее, боясь сбиться с пути.

— В такую темень пристукнут, и не узнаешь кто, — заговорил Фома Ильич. — Тем паче, время беспокойное...

— А что, разве у вас пошаливают? — осведомился Михаил.

— Да всяко бывает, — уклончиво ответил Сеница. — Так, значит, домой едете? — переменял он разговор. — Жаль вот только, батю не застанете.

— А где же он?

— Вы, стало быть, не знаете еще наших делов, а я думал в городе все известно об Алексеевке... Господи боже мой! Да тут такие дела творятся...

— Расскажите.

Фома Ильич пустил коня шагом и, обернувшись лицом к пассажиру, начал рассказывать:

— Объявился у нас Охранюк, может, слышали? Заступник крестьянский, супротив большевиков идет. Человек верный и вояка лихой. Сила у него большущая. Так вот он, месяц тому будет, пожаловал к нам. Мы, а наипаче Ермил Тихоныч, помогли ему маленько. Село-то он освободил от большевиков, а все-таки дал промашку, не передумал их. Прихватили одного только Микишку Лунева. Прикончить бы его надо тогда, но Ермил Тихоныч поизмываться над ним, бесом, захотел напоследок...

— Это Микишка, который у отца работал? — осведомился Михаил.

— Он и есть. Это, я скажу вам, не человек, а наваждение господне. Он первый в разор пустил вашего батю. Рыкысымы какую-то выдумал. Вот эти рыкысымы-то и зыркают по сусекам обстоятельных мужиков. Ермил Тихоныч заставили выскрести из ямы весь хлебушко, у меня до тысячи пудов взяли, у Пьянова опять же...

— Ну, а дальше что? — торопил рассказчика Михаил.

— Утек Микишка-то, — продолжал Сеница. — Ведь

сидел бес в бане у вашего бати, побитый чуть не до смерти, и все-таки ушел да еще охранюка одного укола. Это тебе не анафема?

Михаил рассмеялся.

— Смеешься, чадо, а плакать надо, — рассердился Фома Ильич.

— Почему же плакать?

— Батю-то в чеку увезли, а там... не в бане сидеть: раз-два и на колбасу.

Михаил что-то хотел сказать, но поперхнулся и замолк. Фома Ильич не видел выражения лица Мишки, но по своему понял его настроение и удовлетворенно заметил:

— То-то и оно, а то было смеяться. Тут, парень, сам гляжу, как бы в эту чеку не пригласили...

— И в самом деле, — заметил Михаил, — Рублева арестовали, а вас...

— Меня бог миловал. Да ведь Ермил Тихоныч вроде голова всему был. У него и штаб ихний, охранюковский, стоял. В открытую шел, а по нынешним временам, я разумею, надо действовать исподтишка, чтоб тебя не заметили.

Проехали мост через Сакмару. Лошадь, почуяв близость дома, пошла ходкой рысцой.

— Теперь Алексеевкой опять управляют большевики, — заговорил снова Фома Ильич. — Глебка Кречетов — наиглавнейший тут. Слыхали такого?

— Не помню...

— Тишки, сапожника сын. Отец-то умер давно, а сын в городе пробавлялся, потом на войне был, моряком. Уцелел, окаанный, на нашу беду!.. А Охранюк, — добавил мельник, — к преображенцам подался. Наберется сил и опять пожалует к нам.

Михаил молчал. Вдали зачернели дома Алексеевки.

— У матушки остановитесь? — осведомился Фома Ильич.

— Какая же она мне матушка? — удивленно ответил Михаил. — Нет уж, где-нибудь у чужих жить буду.

Хотел Фома Ильич предложить квартиру в своем доме, да вовремя вспомнил о Зинке: парень форсовый, молодой, подлец, чего доброго и свинью подвалит хозяину.

— Я бы, — начал оправдываться мельник, — и к себе пустил, да...

— И не беспокойтесь, — перебил его Михаил, — мне с вами не по пути.

«Осподи боже мой, — с тревогой подумал Фома Ильич, подъезжая к дому. — Вот и гадай, на какую дудку играть: не то он наш, не то большевик, скорее всего — красный. Эта зараза в аккурат из города идет». От такой догадки у него даже испарина появилась на лбу. «А вдруг он все расскажет Глебке? И черт меня дернул за язык! Рублевский отпрыск, думал, а он вон что: «не по пути с вами...»

Во двор мельник заехал с такой поспешностью, как будто за ним кто гнался. Быстро отпряг лошадь, унес драгоценную кладь в сенцы и опрометью в потайную кладовку. Из груды разного тряпья извлек обрез и ахнул: с правой стороны винтовочного ложа не хватало куска. Фома Ильич раскидал все тряпье, порошние мучные мешки, а осколок так и не нашел, где и как он отскочил, не мог вспомнить. Обеспокоенный этим, он схватил обрез и унес в свою «деловую» комнатку — сюда даже Зинке не разрешалось заходить, спрятал оружие в печурку голландки, засыпал золой и успокоился: «Пусть, — думал, — этот рублевский выкормыш Глебке докладывает... Отрекись, не было свидетелей при нашем разговоре! А что касается улик, — найдите-ка попробуйте...»

Алексеевка жила по-прежнему беспокойной, настороженной жизнью. В районе Преображенска, за шестьдесят-семьдесят километров от Алексеевки, продолжали орудовать потрепанные продотрядом охранюковские банды. Пошаливали по другую сторону Алексеевки, в казачьих станицах. Красная Армия ликвидировала дутовские орды, но кое-где старики, возвращавшиеся домой под честное слово не поднимать больше руку против Советской власти, занимались тем же, чем занимался и кулацкий радатель Охранюк.

Огромные заботы легли теперь на плечи Глеба Кречетова. Он был председателем сельсовета и организовавшей за это время ячейки РКП(б). Помимо текущих дел, а их было по горло, Глеб нес ответственность и за безопасность села. Теперь, правда, у него была сильная опора: семь коммунистов, девять комсомольцев, беднота. Глеб создал небольшой вооруженный отряд, который ночами нес охрану села. За эти бессонные ночи и хлопотные дни он как-то осунулся, постарел. В черных, стриженных когда-то под бобрик, волосах появилась седина, крупный нос заострил-

ся, лицо покрылось густой щетиной, серые глаза стали еще больше, но в них по-прежнему не угасал огонек. Сегодня Глеб и ночевал в Совете — готовил проекты решений об обложении кулаков налогами, о пуске мельницы, изъятой у Синеицы, и передаче дома Рублева под клуб молодежи. Он собирался уже уходить, как в дверь кто-то постучал.

— Войдите, — пригласил Глеб.

Перед ним стоял молодой человек, выше среднего роста, в кожаной на стежке куртке, в суконных защитного цвета брюках-галифе, заправленных в ладные хромовые сапоги. Глеб пристально всматривался в широкое лицо с небольшим, слегка вздернутым носом. Глаза чуть-чуть раскосые, зеленоватые, с длинными, как у девицы, ресницами. Темно-рыжие волосы аккуратно расчесаны на пробор.

— Михаил Рублев, — представился он, — приемный сын Ермила Рублева; вот мои документы.

— Рублев? — удивился Глеб. — Где же это вы пропадали эти годы? Почему в Алексеевку, а не куда-нибудь еще? На помощь отцу приехали? Опоздали...

Для Михаила эти вопросы не были неожиданными, к ним он готовился и, несколько не смутившись, ответил:

— Приехал домой жить и работать. Рублеву я такой же сын, как Никита Лунев... батрачил и я не меньше его, пока не уехал в город.

— Что же вы намереваетесь делать? — мягче спросил Глеб.

— Могу все, — ответил Михаил, — от погонщика быков до театральной сцены!

— Гм... Артист?

— Приходилось в клубах выступать — публике нравилось.

— Ну, что ж, живите, — сказал Глеб.

— Но у меня к вам одна просьба...

— Какая?

— Заявление вот насчет РКСМ...

— Это не мое дело, — ответил Глеб, читая заявление. — А сколько лет вам?

— Двадцать с хвостиком.

— Да... это не ко мне. Обращайтесь в ячейку РКСМ, — посоветовал Глеб, — у них, кстати, завтра собрание.

Комсомольское собрание состоялось в просторном рублевском доме. Сюда пришли не только комсомольцы, но и

почти вся алексеевская молодежь. Одним из первых пришел и Михаил.

Ваня Круглый, временно исполняющий обязанности председателя ячейки РКСМ, открыл собрание. Избрали президиум. Огласили повестку дня: 1) прием в члены РКСМ; 2) доклад тов. Ломова о поездке в Оренбург; 3) текущий момент. Первым зачитали заявление Ани Мешковой. Она месяца полтора тому назад вернулась из продотряда, болела тифом и только теперь смогла прийти на собрание. Ребята радовались ее выздоровлению, и каждый заранее уже обдумал свое отношение к ее заявлению: «принять, конечно». Однако Митька Жижин, сосед Ани, ради формы попросил ее рассказать свою биографию.

Аня встала. Это была уже не та «барышня», у которой, по выражению батрачонка, «кишка еще была тонка для комсомола». Теперь перед ребятами стояла возмужавшая, стройная девушка со спокойными движениями. Перенесенная болезнь стерла на время привычный румянец с ее щек, лицо стало светло-матовым, глаза приобрели еще большую синеву. Она говорила, слегка волнуясь, и закончила просто и неожиданно:

— Вот и вся моя биография...

— Это мы знаем, — слышались голоса, — ты расскажи нам, как батрачонка спасла?

— Чего же тут рассказывать? — тоном удивления спросила она. — Это ведь тоже известно вам. Ну, переплыли мы на ту сторону, а там вместе с товарищем Кречетовым да и многими из вас ушли в продотряд. Вы все вернулись, а Лунев (Аня давно уже перестала называть его батрачонком) больной был, я с ним оставалась, пока продотряд не вошел в полк. Он стал красноармейцем, а я вернулась домой. Вот у меня письмо к вам от него.

— Аня, — снова раздались голоса, — а как же ты одолела охранниковца, который сторожил батрачонка?

— Не знаю... Не помню... Вот товарищ Кречетов скажет, он все знает.

Выступил Глеб. Он сказал, что Аня выполняла партийное поручение, спасая Никиту Лунева, что алексеевская молодежь может гордиться девушкой, которая, рискуя жизнью, доказала свою преданность революции.

— Хватит, товарищи, ее допрашивать, — заключил Глеб, — пусть Аня будет у нас первой девушкой комсомолкой.

Все горячо зааплодировали. Кинулись поздравлять Аню. Кто-то кричал: «Ура Мешковой! Долой международный капитализм!»

Ваня Круглый, наводя порядок, старался перекрычать всех.

— Товарищи! Самостийность не позволю! Берите слово. Собрание продолжается!...

Наконец порядок был водворен. Зачитали заявление Михаила Рублева. И странно, все как воды набрали в рот — молчат. Поднялся Михаил.

— Может, я расскажу свою биографию?.. — робко спросил он.

— Не надо! — оборвал его Митя Жижин. — В заявлении все прописано. А принимать в комсомол не будем — личность неясная.

— Ты конкретное предложение давай, — приставал Круглый.

— Сказано, не принимать, — отрезал Жижин. — Это тебе не конкретно?..

— Правильно! — раздались голоса.

Рублева в комсомол не приняли.

Затем докладывал Петя Ломов. В памятную ночь набега Охранюка на Алексеевку Петя, переплывая реку, вдруг почувствовал сильный удар и боль в плече, потом до него донеслось эхо винтовочного выстрела. Пуля застряла в плече, и он, обливаясь кровью, еле добрался до того берега реки. Там товарищи перевязали рану и отправили Петю на станцию, а оттуда в Оренбург. Здесь пулю вынули. Рана быстро зажила. Петя попал на губернскую конференцию РКСМ, которая обсуждала два главных вопроса: о мобилизации комсомольцев на фронт, о помощи фронту.

Доклад Ломова приняли к сведению, и тут же открылась запись добровольцев. Записались все комсомольцы. Только Ане посоветовали остаться в Алексеевке.

— Ты, — наставительно говорил Круглый, — будешь комсомолом руководить.

Приняли решение провести «Неделю сухаря», в течение которой собрать не меньше двухсот пудов хлеба и отправить на фронт.

Текущий момент осветил сам Ваня Круглый, и сущность его состояла в том, чтобы силами комсомола починить плотину и выделить комсомольца для заведования мельницей. Решили послать мельником Митю Жижина.

Михаил нагрянул к Фоме Ильичу неожиданно. Тот не успел даже отослать Зинку в женскую половину. А она, как на зло, вьелась глазами в парня и давай выпытывать: «Откуда вы да чей, да где служите». Узнав, что Михаил спектакли готовит в комсомольском клубе и что сам он артист, Зинка, забыв о присутствии Фомы Ильича, подсе- ла к Михаилу, схватила его за руки и безапелляционно заявила:

— Я ужасно люблю представления и артистов. Вы заходите ко мне, мы с вами будем ходить на спектакли.

Фома Ильич, взбешенный столь непристойной выход- кой Зинки, покосился на нее свирепыми глазами и зло прошипел:

— Дуреха. Человек по делу пришел, а ты — спектак- ли... Марш к себе!

Зинка ушла обиженная, но глазами дала понять Ми- хаилу: «Не обращай внимания на старого черта. Прихо- ди».

Фома Ильич выгнал бы из дома и Мишку, если бы не проболтался в тот раз о своих симпатиях к Охранюку. Теперь вот приходится терпеливо сносить и его приход, и Зинкину ветреность.

— С чем пожаловали, Михаил Ермилыч? — осведо- мился мельник.

Михаил объяснил цель своего визита кратко: фронт-де нуждается в помощи, и Фоме Ильичу следовало бы пуди- ков пятьдесят муки дать на это дело.

— Разор кругом! — завопил мельник. — Глебка нало- гами душит, вся соль на него вышла, а вы с хлебом при- стаете... — Подумав, спросил с ехидцей: — Значит, им слу- жите? Так, так... Ну что ж, берите последнюю мучицу... Господи боже мой, что делается на белом свете!

— Не сердитесь, Фома Ильич, — извиняющимся то- ном сказал Рублев, — так нужно, — и, попрощавшись, ушел.

Фома Ильич долго думал над последними словами Ми- хаила: «Так нужно». «Может, он наш и дает правильный совет: засыпать им сейчас мучицей глаза-то, чтобы не ви- дели, какую линию гнет Сеница, а потом, когда придет Охранюк, нажать на них так, чтобы красными соплями изошли, сволочи...»

Вечером зашел к Фоме Ильичу Ефим Пьянов. Его не- сколько дней не было в селе: шабры говорили, на станцию

уехал, а поп Ипатий и мельник ждали Пьянова с другой стороны. По общему тайному уговору они посылали его в Преображенское разведать о делах Охранюка и его намерениях. Поэтому Фома Ильич пригласил гостя прямо к себе в «деловую» комнату. Завесил окно и, не зажигая огня, шепотом спросил:

— Ну, Ефим Сидорыч, выкладывай картишки, говори, на каких козырях играть нам теперь?..

Пьянов тоже заговорил шепотом. Только по тому, как бойко шевелилась его длиннущая борода, можно было догадаться, что он говорил и говорил почти непрерывно. Потом встал, настороженно огляделся вокруг и уже громко сказал:

— На Глебке да на рыкысымах эта сатанинская власть держится. Подруби опору — все свалится.

Фома Ильич не радовался вестям из Преображенска, да и чему радоваться, когда Охранюк советует «самим действовать». Хорошо сказать «самим». Теперь Глебка сильнее его, Синицы. «Вот если бы Мишка Рублев был с нами, — подумал мельник. — Нет, хитрый парень на Зинку зарится. — И, вспомнив, как она бесстыдно лезла к нему, решил: теперь зачастит, подлец, ко мне».

И правда, Рублев еще раза два приходил к Фоме Ильичу. Один раз просил лошадь, чтобы отвезти на станцию больную хозяйку, у которой он квартировал, а второй раз уже непосредственно к Зинке — за костюмами к спектаклю.

Больше Михаил не заходил, зато чаще стала отлучаться из дому Зинка. Она часами просиживала на репетициях, была на спектаклях и не сводила влюбленных глаз с Мишки.

Однажды назначила ему даже свидание в заречной роще. Михаил остерегался людской молвы — как-никак, а девица из публичного заведения, любовница мельника. И все же пришел...

Зинка умоляюще просила его:

— Мишенька, миленький, возьми меня к себе... Я для тебя на все готова. Хочешь, сейчас прыгну в речку и утону, — полушутя, полусерьезно сказала она. И, целуя его, добавила: — Вот как безумно люблю тебя!

— Возьму, — нехотя ответил Мишка, — только подожди немного. Ты мне будешь очень нужна.

— Да? — обрадовалась Зинка. — Артисткой меня сде-

лаешь? Мишенька, научи меня играть каких-нибудь графинь, ведь я красивая и выражаться по-городскому умею. А?

— Я тебе дам другую роль...

Вся Алексеевка собралась провожать комсомольцев. Правда, губком РКСМ сильно урезал список добровольцев — на фронт уходили только Ваня Круглый, Петя Смыслов и Петя Ломов, совсем оправившийся от охранковской пули. Вместе с комсомольцами Алексеевка послала пятьсот пудов хлеба, собранного в «Неделю сухаря». Более двадцати подвод потянулось по главной улице. Впереди шли комсомольцы. Ваня Круглый нес знамя. Михаил Рублев вышел на проводы с двухрядкой. Пели «Смело, товарищи, в ногу», «Мы кузнецы» и другие, недавно дошедшие до деревни песни. За околицей состоялся митинг. Глеб Кречетов выступил с напутственной и прощальной речью. От имени комсомольцев взял слово Ваня Круглый. Он забрался на телегу, груженную пшеницей, и звонким, почти детским голосом начал речь:

— Товарищи! Вы провожаете нас в бой с международной гидрой. Мы ее, как сказал товарищ Ленин, должны прикончить совсем и бесповоротно, и мы ее прикончим. А вы, — показывая жестом в сторону провожающих, — держитесь за Советскую власть и РКСМ. Да здравствует товарищ Ленин! Смерть всяким гидрам революции!

Алексеевцы сердечно попрощались с ребятами. Обоз, сопровождаемый лихим маршем, тронулся в путь.

Аня с проводов пошла в школу, провела занятия в ликбезе и уже вечером наведала Авдотью Васильевну — мать Ники Лунева. Она еще в первые дни выздоровления Ани была у нее, и та подробно рассказала, как Ника избавился от рублевской кары. Авдотья Васильевна и сама уже получила два письма от сына. И все-таки у нее не было иных разговоров, как о нем. Вот и сейчас, не успела еще Аня зайти в хату, как она сразу же засыпала ее вопросами:

— Как там Микитушка? Жив ли? Он тебе пишет?

Опять вспомнили ту страшную ночь, в которую Авдотья Васильевна как будто похоронила своего сына.

— Вот только и нашла в сенцах, когда выбежала убежать от беды, — сквозь слезы сказала Авдотья Ва-

сильевна, доставая из сундука бережно завернутую в тряпицу какую-то вещь.

Аня, увидев ее, тут же попрощалась с Авдотьей Васильевной и побежала в сельсовет.

— Вот, товарищ Кречетов, чем били Нику Лунева, — выпалила она на ходу, даже не заметив, что здесь сидел Митя Жижин. — Посмотрите: это, кажется, от винтовочного ложа.

— Да, точно, — подтвердил Глеб, осмотрев деревянный осколок. — Значит, свои, алексеевские гады орудовали. Оставь у меня, будем разыскивать хозяина.

Из сельсовета Аня вышла с Митей. Тот, проводив ее до церкви, повернул на дорожку, ведущую к мельнице. Она уже второй день как начала работать, и Митя не утерпел на прощанье поделиться с Аней своей радостью.

— Ты только пойми, Аня: сами, своими руками пустили мельницу. Чуешь, как колесо грохочет? То-то! Ты приходи ко мне, я тебе покажу все заведение.

— Приду, Митя, обязательно! — крикнула Аня, торопясь домой.

Уже стемнело, накрапывал холодный, как перед снегопадом, дождь. Но не успела Аня пройти и десяти шагов, как перед ней очутилась знакомая фигура Михаила Рублева.

— Домой торопитесь? — осведомился он и любезно предложил: — Я вас провожу.

— Я одна дойду.

— Почему вы избегаете меня? Чем я заслужил ваше презрение? — приставал Рублев.

Ускоряя шаги, она резко бросила:

— Отстаньте!

Михаил не отставал. Он даже забежал вперед и голосом отчаявшегося произнес:

— Минутку! Только одну минутку... Выслушайте меня!

Аня остановилась.

— Я, — начал Рублев трагическим тоном, — самый несчастный человек. Меня считают сыном Ермила Рублева, а я не больше как его батрак. На меня косо смотрят алексеевцы, комсомольцы. За что? Я бы давно захлестнул свою шею веревкой, но единственно, что останавливает меня, — это любовь к вам. Да, да, Аня! Поверьте, никто в мире не любит так сильно, рабски преданно, как я вас люблю...

Но странное дело: произнося эту любовную тираду, он то и дело оглядывался по сторонам, чего-то ожидая. Аня чувствовала в его голосе и манерах ложь, наигранность, и он ей стал еще более противен.

— Отстаньте от меня! — почти приказывала Аня.

В какое-то одно неумовимое мгновение Михаил обнял Аню, силой пытаясь поцеловать.

— Подлец! — крикнула она, убегая от него.

Но вдруг раздался выстрел. Поднялся столб огня и дыма, зловеще озаряя небольшую рощицу у мельницы. Михаил стоял, настороженно вглядываясь в занимавшееся зарево пожара.

Алексеевка всполошилась. Глеб первым прибежал на мельницу. Прибежали сюда Аня, ребята. Они вместе с комсомольцами начали поливать водой охваченный пламенем деревянный корпус мельницы.

— Где же Митя? Ми-тя! — окликал Глеб, пытаясь найти его в этой суматохе.

А Митя лежал у избушки, где он поселился, в луже крови и бессвязно, точно в бреду, бормотал:

— Баба... Женщина стреляла... Поймать бы ее... — и, собравшись с силами, крикнул: — Держите ее!..

ДВА ПИСЬМА

— Лунев, жив?

Ника уже начал дремать, устроившись с военкомом роты Львовым на ночлег в нежилой хатенке, на отшибе небольшого украинского села. «Никак, Петька Ломов пришел, — подумал Ника, нехотя вставая с пригретой им охапки ржаной соломы. Днем Ломов уходил в штаб полка. — Может, новости какие принес?»

— Давай заходи, — шепотом пригласил он Петьку. — У нас тут темновато малость, но ты иди прямо на мой голос. Только не горлань — Николай Федорович спит.

— Вот вы где, — заговорил Петька, ощупью добравшись до Ники. — Насилу нашел, право слово. Занесло же вас почти на передовую, — затараторил вполголоса Петька. — Тут вас, как кур, перережут и не пикнете.

— Ладно, не страдай, — оборвал Ника. — Рассказывай, какие новости принес?

— Да ничего особенного. Подкрепление нам пришло — сотни две кавалеристов, теперь веселее дело пойдет... Да,

забыл совсем: тебе два письма принес. — И он извлек из кармана гимнастерки два бумажных треугольничка. — Вот, на! Видать, родичи пишут.

Ника взял письма и, волнуясь, зажег сальный фитилек.

— Ты, Петя, пока я читаю, помолчи. Потом поговорим. «Кто же это пишет мне, — думал Ника, присаживаясь ближе к еле мерцавшему огоньку. — Аня? Ведь как расстались тогда в продотряде, так ни строчки и не написала, а обещала. Может, что случилось? Тогда ей нездоровилось... Да нет, тут что-то не то!..»

Он бережно развернул один из треугольников. Это письмо было от матери. За нее, неграмотную, всегда писала дочь соседа Коршунова, и Ника уже привык к ее детскому почерку.

«Дорогой мой сыночек, — читал Ника, — низко кланяется тебе твоя мать Авдотья Васильевна Лунева и желает тебе здоровья. Мы все живы, слава богу, чего и тебе желаем. У нас летом была засуха, и хлеб погорел, но ты об нас не печалься. Мне помогают Глеб и твои товарищи. Если же будет голодно, то уйду в город, какую-нибудь найду работу. А когда ты, мой дорогой сыночек, возвратишься, мы заживем...»

Ника оторвался от письма и с грустью подумал: «Плохо, видно, матери живется, если надумала в город на заработки идти. Ведь одна у нее опора — я, да вот опора-то оказалась пустяковая. Пойдет в чужие люди, а там такие же, как Рублев, будут издеваться над ней: «Сын, скажут, власть пролетарскую завоевывает, революцию делает, вот с него и требуй на пропитание». Ну, погоди, гады, — зло заключил Ника. — Разделаемся вот с вами и заживем. Только когда это будет?»

Больше года воюет Ника. Куда только не забрасывал его разбушевавшийся по всей России-матушке вихрь гражданской войны. Начав ее у себя дома, он побывал в Средней Азии, на Кавказе, а теперь вот сидит в хатенке, чудом уцелевшей от вчерашнего артиллерийского огня, где-то на границе с Польшей Пилсудского. Военком роты Николай Федорович Львов — питерский рабочий, которого красноармейцы прозвали «папашей» не столько за его почтенный возраст, сколько за душевность и теплоту в обращении с ними и к которому Ника привязался как к родному отцу, обещает в этом году закончить войну. Так ли?..

— Ты чего же молчишь, — прервал Петька невеселые раздумья Ники.

— А что же говорить, — глубоко вздохнул Ника. — Невеселые вести из дома идут. На прочитай, что мать пишет. — И он протянул письмо Петьке, развертывая второй бумажный треугольник.

В глаза бросился незнакомый, четко писарской почерк. «От кого еще это?» — подумал Ника, пододвинув исписанный листок старой пожелтевшей от времени бумаги ближе к огоньку.

«Дорогой наш земляк, — начал читать Ника. —

Вы там за нас кровь проливаете и не думаете, что у вас есть змия, которую вы грели на своей революционной груди. Эта змия — известная вам дочь учителя, Аннушка. Вы ей любовные письма пишете, а она плюет на вас и рыкысымы. Она тут спуталась с одним приезжим из города парнем и забрюхатила...»

Ника дальше уже не мог читать. Помутнело в глазах, сжалось от ноющей боли сердце. Комкая письмо, он только и мог проговорить:

— Змея и есть!

— Это кто же? — осведомился Петя Ломов, а сам подумал: «Нечего сказать, обрадовал друга письмами». — От кого письмо-то? — приставал Петя. — Нет, ты, право слово, какой-то очумелый. Ворчишь себе под нос, а чего, почему — и не поймешь...

— Поймешь! — И Ника зло бросил письмо Петьке. У Ники не было никаких тайн от него. Многие месяцы тяжелой фронтовой жизни сблизили их так, что каждый из них не скрывал друг от друга ни радостей, ни огорчений.

Пока Ломов читал анонимку, перед Никой промелькнули короткие дни и часы встреч с Аней. Ему еще недавно казалась такой ясной и безоблачной дружба с ней. И вот... Да дружба ли это? Ника не хотел еще признаться себе в том, что он любит Аню, любит сильно и глубоко.

...Теплый майский день. Степь, покрытая густой пряной зеленью, заполнена птичьим гомоном. По небу лениво плывут перистые облачка. Жарко. Марит. Ника, утирая пот с лица, поднял плуг из последней борозды, отпряг быков и пошел к меже, где у него в траве хранился скудный обед: глиняная миска с кислым молоком и ломоть хлеба.

В степи было так хорошо, так уютно, что Ника сам разрешил себе полежать немного в траве, помечтать.

Но вскоре он заснул и проспал бы, наверное, до вечера, если бы не почувствовал, что его кто-то щекочет. Ника с силой хлопнул ладонью по шее и открыл глаза: перед ним сидела Аня, заливаясь звонким, раскатистым смехом.

— Ну, хватит, вставай! Я вот тебе книжки принесла. — И, собираясь уходить, добавила: — Прочти обязательно. И не только прочти — выучи!

И исчезла. Напевая какую-то песенку, она быстро шла к селу. Легкий ветерок трепал ее розовенькое платище и русую косичку с вплетенным в нее оранжевым бантом, напоминавшим большую бабочку.

И еще вспомнилось Нике...

Он стоял в строю, теперь уже красноармеец, в новенькой защитного цвета гимнастерке, такого же цвета брюках и поношенных сапогах. На голове сверх марлевой повязки надета буденновка, на спине аккуратно скатанная шинель.

Вновь организованная часть из бывших продармейцев и пополнения, присланного комсомолом, должна пешим строем добраться до станции, а оттуда эшелон — на фронт.

Сегодня же и Аня должна уйти домой. С той памятной ночи, когда они бежали от банд Охранюка, Аня почти неотлучно находилась с Никой, лечила, как умела, рану на его голове.

И вот она подошла к нему, обняла и поцеловала в губы.

— Писать будешь?

— Буду, обязательно буду! — волнуясь, ответил Ника. — А ты?

— Да...

— Ну и змея! Ну и ехидна, право слово! — возмущался Петя вслух, забыв о предосторожности. — Пристрелить такую гадину!..

— Кого пристрелить? — проснулся Николай Федорович. — Кто это здесь собирается стрелять? В кого?

Ника и Петя молчали. Николай Федорович начал допрашивать обоих:

— Чего не поделили? А? Что у вас произошло?

— Ничего у нас не произошло, — виновато ответил Ника. Николай Федорович, заметив листок бумаги у Ломова, спросил:

— Что за бумага?

— Письмо мне, — ответил Ника.

— Ну и что? На дуэль кто вызывает? — пошутил он. Ника взял письмо у Ломова и передал военному. Тот знал об Ане, о том, как она спасла Нику. Он прочитал письмо, подумав немного, спросил:

— Так кого же вы пристрелить собираетесь?

— Известно кого, — продолжал возмущаться Петя. — Это ведь, Николай Федорович, измена не только Луневу, но и РКСМ. Я бы ее, не моргнув, пристрелил...

Николай Федорович ласково, по-отцовски похлопал по плечам того и другого и, улыбаясь, сказал:

— Эх вы, горячие головы! А я бы вот пристрелил того, кто, утаив свое имя, пишет эту грязную ложь. Да, да... Пристрелил бы обязательно. Только отъявленный негодяй, вражина, трус способен на такую подлость: оклеветать девушку, которой мы должны гордиться, а заодно и отравить настроение Нике, тебе, Петя, всем нам...

От этих простых, убедительных слов комиссара Нике стало как-то неловко. Он уже раскаивался в том, что мог так плохо подумать об Ане. Молча соглашался с доводами Николая Федоровича и Петя Ломов.

Брезжил рассвет. Николай Федорович, быстро одевшись, скомандовал ребятам:

— Пошли!

И они направились к холму, прикрывавшему поселок с запада. Вдали чернели свежевыкопанные окопы. Где-то рядом раздался артиллерийский залп, другой. Начали стрелять и с польской стороны. Завязывался бой.

ИСПЫТАНИЕ

...Было это месяца три назад. После жарких стычек с петлюровцами и другими бандами, наводнившими в то время украинскую землю, полк стоял на отдыхе в небольшом селе. Красноармейцы приводили себя в порядок: мылись, чинили и стирали белье, набирались сил. Петя Ломов, неведь где научившийся чеботарить, ухитрился превратить свои старые, выдавшие виды ботинки в такие, как он выразился, «шикарные штиблетки», что Ника даже позащитовал ему.

— Ну, Петя, теперь у тебя отбоя от девок не будет, — пошутил он.

— А ты как думаешь? — соглашался Петя. — К дев-

кам ведь нужен подход... А какой же это подход, если у тебя, скажем, из дырявого ботинка пальцы высовываются? Теперь вот другое дело.

Но, любуясь своими обновленными, начищенными печной сажей ботинками, он сокрушался об одном: не скрипят.

— И что за чудное место здесь. Кругом сады, лес, птички всякие, а вот березки нет. А как бы она пригодилась! Ведь подложи между стелькой и подошвой небольшой кусочек березовой коры — и ботинки заскрипели бы. Ну да ладно, — примирился он. — Давай-ка почию твои вездеходы.

— Эй, кто есть тут! — послышался чей-то голос у окна дома, где квартировали Лунев и Ломов.

— Чего надо? — отозвался Ника, увидев красноармейца.

— На митинг сейчас же, комиссар приказал!

Площадь у церкви заполнили красноармейцы и жители поселка. В центре стояла тачанка. На нее влез комиссар полка, снял фуражку и зычным баритоном, обращаясь к собравшимся, начал речь...

Он говорил о последнем выступлении В. И. Ленина, о непоколебимой уверенности в скорой и окончательной победе Красной Армии, о том, что успехи Красной Армии вызывают злобу и бешенство американских и английских империалистов, которые угрожают нам своим нашествием... Он закончил свою речь призывами к красноармейцам, жителям села:

— Раздавим гидру контрреволюции! Пусть всюду на нашей земле реет непобедимое Красное Знамя Советов.

Выступали красноармейцы, потом к тачанке протиснулся старик. Он поклонился на все четыре стороны, поправил пятерней растрепанные ветром длинные седые волосы и заговорил:

— Я, товарищи, так думаю: заморским людям у нас тут делать нечего — сами разберемся, что к чему и какую власть нам надо. Мы уже выбор сделали. Был у нас тут Петлюра. Хорошо проводили мы его — многие из его банды и ног не успели унести отсюда. — Старик помолчал немного, лукаво усмехнулся. — Вот такой-то конфуз может случиться и с заморскими гостями... Я вот двух сынов сюда привел — Павла и Ивана, вон они, — показал он рукой на стоявших невдалеке двух рослых парней. — Ребята на-

дежные, скажу вам. Петлюру били крепко. Пусть теперь вместе с вами бьют польских панов и этих самых, которые из-за моря собираются к нам припожаловать...

Площадь одобрительно гудела. Кричали: «Ура!», «Смерть империалистам!» Митинг закончился мощным тысячеголосым пением «Интернационала».

Возвращаясь домой, Лунев решил зайти к Николаю Федоровичу.

— Пошли вместе, — пригласил он Петю. — Хочется поговорить с ним, узнать последние новости...

Но по дороге им встретился сам Николай Федорович.

— Куда путь держите? — осведомился он.

— К вам, собрались, — сказал Ника.

— Дела какие?

— Никаких, — вставил Петя.

— Вот и хорошо. У меня тоже сейчас свободное время. Пойдем-ка вон в тот лесок, — кивнул он в сторону рощи. — Посидим, потолкуем.

Был теплый июньский день. Легкий ветерок слегка шевелил зеленую листву на верхушках деревьев. Где-то неумолчно заливался соловей. Здесь, в роще, ничто не напоминало о тяжелых и суровых днях войны.

— И до чего же хорошо! — не удержался Николай Федорович. Он сидел на пне спиленного дерева, посасывая трубку, и улыбался своими добрыми глазами. — Как же нам не воевать за все это. Ведь теперь все, чем богата наша земля, принадлежит тем, у кого мозолистые руки. Скоро кончится война, и мы построим новое общество, где счастливы будут рабочие и крестьяне, все простые люди...

Комиссар так увлекательно рассказывал о будущем, что ребятам показалось, что оно уже становится явью. А потом, обращаясь к Нике и Пете, сказал:

— Пора и вам в партию вступать, большевиками быть...

— А я и так всю жизнь большевик! — выпалил Петя Ломов.

— Так, значит, ты всю жизнь большевик?

— Право слово, — подтвердил Петя.

— Ну, а ты как, Лунев? — обратился комиссар к Нике.

— Я, Николай Федорович, — смутясь, проговорил Лунев, — одной девушке, вы знаете, о ком идет речь, когда она хотела в комсомол вступить, сказал, что у нее «кишка

для этого тонка». Вот я и думаю: а крепка ли она у меня, чтобы быть коммунистом? Когда смотрю на вас, Николай Федорович, то думаю, что я, хоть и насквозь красный, а не такой, как вы... То есть, как это вам сказать, вы во всем какой-то прямой, крепкий, как кремь, а во мне сырости много...

— Да ведь это от молодости, дорогой мой Лунев! — ласково заметил комиссар. — С годами и у тебя эта самая сырость поубавится, а партия тебе да и Ломову, хоть он и всю жизнь большевик, поможет стать настоящими большевиками.

— А как вы думаете, Николай Федорович, примут нас в партию? — спросил Ломов.

— Это уж как собрание решит...

— А когда будет собрание?

— Завтра.

Их приняли обоих.

...Лунев на партийном собрании торжественно заявил:

— Клянусь честью и совестью комсомольца, что я не пожалео ни крови, ни жизни своей за партию большевиков, за Советскую власть.

В последующих боях Ника не раз показывал пример доблести, мужества и героизма. Но ему все это казалось столь обычным, что он не раз задавал себе вопрос: «А все ли я делаю, что требуется сейчас от большевика?». Он стал чаще отпрашиваться у своего командира в разведку и всегда возвращался с ценнейшими сведениями.

Однажды он проник далеко в глубь территории, занятой врагом. Задержался в одном из поселков, раскинувшись у большой речки со спокойным течением и с берегами, заросшими камышом. По дороге двигались обозы с вооружением, пехота, отряды кавалерии. «Значит, тут есть где-то мост», — подумал Ника и занялся поисками его. Действительно, на окраине поселка высился охраняемый солдатами большой трехпролетный мост. «Вот бы взорвать его, — мелькнула мысль у Ники, — и ниточка, связывающая фронт пилсудчиков с тылом, оборвалась бы».

С этой мыслью он вернулся из разведки и поделился ею с комиссаром своей роты.

— Я это сделаю, Николай Федорович, так, что они и не успеют опомниться...

Комиссар долго обдумывал план Лунева.

— Пойдем к командиру полка, — сказал, наконец, Ни-

колай Федорович. — Доложим, и, если он одобрит, действуй.

...Рассвет наступал медленно. Небо заволокло серым, непроницаемым покрывалом туч. Моросил мелкий дождь. Они, увязая в грязи, шли молча. Каждый думал свою думу. Ника представлял себе всю трудность и рискованность предстоящей операции. «Вот и еще одно испытание на твердость духа и мужество... — мысленно рассуждал он сам с собой. — Выдержу ли?» И сам себе ответил: «Выдержу!».

Они подошли к опушке оголенного осенними ветрами леса. Здесь стояли кавалерийские сотни. В раскинутой не-вдалеке палатке комиссар и Лунев застали командира полка.

— С чем пожаловал, Николай Федорович? — увидев комиссара, осведомился командир полка. — Новости какие принес? Выкладывай...

Николай Федорович представил командиру полка Лунева и коротко рассказал о его плане взрыва моста.

— Так, так... — командир полка как-то ласково, с еле заметной улыбкой поглядел на вытянувшегося перед ним красноармейца, пожал ему руку и сказал: — Дельное, дельное предложение. А нуте-ка, посмотрим, где этот мост.

Он вытащил из планшетки карту, развернул ее и, ткнув пальцем в какую-то точку, спросил Лунева:

— Это там, где поселок Лысковец?

— Да, — подтвердил Лунев.

— Я так и предполагал, — точно про себя сказал командир полка.

Ему уже было известно, что пилсудчики занимали позицию, сильно вклинившуюся узким коридором в расположение наших войск. А вот выбить их из этого коридора никак не удастся. Обойти их с флангов трудно или почти невозможно: болота, топь! Ждать зимы — значит задержать наступление. Бить в лоб с нашими легкими пушками — неизбежны большие потери. Да, взрыв моста в тылу врага мог бы значительно облегчить наступательные операции.

— Но тут нужна смелость, находчивость и... я бы сказал, самопожертвование.

По тому, как говорил командир полка, Нике показалось, что ему эту операцию не доверят. Он посмотрел на комиссара умоляющими глазами.

Комиссар понял взгляд Лунева.

— Я согласен с вами, товарищ командир полка, — сказал Николай Федорович, — что тут нужны смелость, находчивость и самопожертвование... Именно поэтому я и полагаюсь на Никиту Лунева.

У Ники глаза заблестели от радости. Он даже осмелел настолько, что, не спросив разрешения, заявил:

— Я все обдумал, товарищ командир полка... И выполняю это задание.

Командир полка подошел к Луневу, по-отцовски обнял его и сказал:

— Ну что ж... Счастливого пути, товарищ Лунев!

Через час Ника, переодетый в крестьянскую одежду, нагруженный взрывчаткой, скрылся в лесу, направляясь в стан врага. Комиссар вернулся в свою роту.

Прошел день. Наступила ночь. Удручающая тишина. Темень. Хлещет дождь.

Николай Федорович уже который раз выходит из окопа. Посмотрит в непроглядную темь и снова в окоп. «Что с Луневым? Добрался ли? А что, если схватят пилсудчики? Замучают парня...» По его расчетам Ника уже должен быть в Лысковцах. Взрыв моста условились считать сигналом к наступлению. Но ночь уже проходит, а...

Лунев же в это время был у моста, на обоих концах которого маячили еле заметные в темноте силуэты часовых. Ника осторожно, под шум дождя погрузился в воду и быстро оказался под мостом. Заложил под центральный устой, на счастье оказавшийся наполовину деревянным, взрывчатку, зажег бикфордов шнур.

Взрывной волной его отбросило к берегу. Перед ним сразу выросли две фигуры пилсудчиков...

...Комиссар себе места не находил. Разговаривая с красноармейцами, он чутко прислушивался к шороху, к какому-то звуку, доносящемуся со стороны противника. И вдруг послышался отдаленный гул. Николай Федорович вышел из окопа. Там, вдали, где по его предположению должен быть мост, показалось зарево.

Начали стрелять наши пушки. Заговорили пулеметы. А вскоре по всему склону холма раздалось мощное «Ура!». Полк пошел в наступление. Пилсудчики, охваченные паникой, обратились в бегство.

— Красные, пся крев, окружили!..

Утром наши войска выбили пилсудчиков из коридора.

Враг побросал здесь все свое вооружение. Мост был взорван, и только от остатков его стелился по берегу едкий дым.

...Николай Федорович обошел весь поселок в поисках Лунева. «Где он? Что с ним?». Комиссар не пропускал ни одного местного жителя, не задав этот вопрос.

— В тою вон хату офицеры ночью хлопца привели, — указывая на кирпичный дом около реки, сообщила комиссару пожилая украинка. — Ой же, и били его... Мабудь, это ваш?..

Это был Лунев. Николай Федорович нашел его во дворе, в деревянной амбарушке, со связанными руками и ногами. Его трудно было узнать: распухшее лицо в страшных кровоподтеках, голова покрыта кровяной коростой.

Комиссар бережно поднял его голову, обрезал веревки и тихо, точно боясь разбудить безмолвного Нику, спросил:

— Лунев, родной мой, жив?

— Жив еще... — еле внятно проговорил он. — Не успели гады расстрелять. — Он с трудом открыл глаза и, преодолевая нестерпимую боль, прошептал:

— Мы еще повоюем, Николай Федорович...

НА СУББОТНИКЕ

Аня вернулась домой на рассвете усталой, расстроенной. Пожар на мельнице, подлый выстрел из-за угла, встреча с Михаилом Рублевым — все эти события одной ночи теснились в ее голове. Она прошла в свою комнату и, не раздеваясь, опустилась на кровать, схваченная горестными раздумьями. Было обидно до слез за свое бессилие. Аня чувствовала, что всеми этими грязными делами в Алексеевке управляет чья-то опытная рука. Но чья? Сидницы? Пьянова?

А может, Рублева?

«Загадочный, темный и скользкий какой-то этот Рублев... Почему именно в эту ночь он решил изливаться свои чувства передо мной? И почему, когда я побежала на пожар, он не двинулся с места. Не было заметно в его глазах ни страха, ни удивления? Точно он знал, что все это так и должно быть, что все это должно случиться... А может быть, и знал? — мучилась догадками Аня. — Сын Рублева, пусть хоть и приемный, приехал сюда не затем ли, чтобы отомстить за отца, за то, что он, Михаил Рублев, так не-

ожиданно лишился долгожданного рублевского наследства?»

Скрипнула дверь. Аня вздрогнула и испуганным голосом, не вставая с кровати, спросила:

— Кто?

Перед ней стоял отец, Александр Андреевич. Его взлохмаченная голова, поднятые с длинного носа на слегка лысеющий высокий лоб очки говорили о том, что он не спал в эту ночь. С тех пор, как Аня, спасаясь от банд Охранюка, бежала с Луневым из Алексеевки, Александр Андреевич перестал понимать свою дочь. Она стала взрослой, и сама, без отцовского руководства, прокладывала себе дорогу в новую, непонятную для него жизнь.

Аня осталась без матери, когда ей было три года. Александр Андреевич не хотел, чтобы у нее была мачеха, и он сам воспитывал ее. Он сумел привить ей прямоту, честность, трудолюбие. Так Аня и росла. Но Александр Андреевич проглядел как-то, что установившиеся с детства взаимоотношения вдруг нарушились, стали расходиться и их общие дороги. Отец восторгался революцией, пока дело не дошло до крови, а дочь непосредственно участвовала в этой борьбе нового со старым, когда не на жизнь, а на смерть схлестнулись два мира — мир Рублевых и мир Луневых.

— Чего тебе, папа? — спросила Аня.

— Опять всю ночь пропадала, — тоном укора заговорил Александр Андреевич. — Кто-то стрелял... Пожар был, а тебя и дома нет, — бессвязно продолжал он. — И чего ты лезешь в эту сумятицу? Не понимаю!

Александр Андреевич нервно шагал по комнате и то сдвинет очки на нос, то снова поднимет их на лоб. — В смутное, беспокойное время мы живем сейчас, дочка, — говорил он уже примиряюще, — и самое лучшее теперь — это отсидеться под надежной крышей дома, пока не уляжется все.

— Папа! — вставая с кровати, сказала Аня. — Как это ты можешь такое говорить?

— Могу! — повысил тон Александр Андреевич. — Я отец, и мне больно видеть твоё роковое заблуждение. За Луневым пошла, его бреднями живешь? Глупая, бесшабашная романтика, которая, я в этом уверен, печально кончится и для него и для тебя.

— Ничего ты, папа, не понимаешь, — с горечью сказала Аня, — и, что обиднее всего, не хочешь понять...

Александр Андреевич ушел, и на Аню вдруг нахлынули воспоминания о Луневе...

И чем дальше она уходила в воспоминания о нем, тем сильнее чувствовала всю тяжесть ничем необъяснимой размовки. За столько времени ни одного письма!

С утра у дома Рублева, ставшего теперь комсомольским клубом, начала собираться молодежь. Пришли сюда и многие алексеевские мужики. Комсомольская ячейка решила сегодня провести субботник. Надо было отремонтировать после пожара мельницу, заложить за речкой Авель, которая опоясывала село, парк, заранее названный комсомольцами «Свобода», помочь семьям фронтовиков подготовить жилища к зиме, подвезти им топливо.

Дел было много, и комсомольцы заранее оповестили всех жителей села, приглашая их на субботник.

— Ну, Мешкова, давай нам работу, какая потяжелее, — обратился к Ане Иван Гаркушин, недавно вернувшийся с фронта, длинный, сухой, но крепкий и мастер на все руки. У него в руках был плотницкий топор, под мышкой ручная пила. Вокруг него собрался еще с десятков мужиков с лопатами, топорами, пилами.

Аня, посоветовавшись с Глебом, направила их на мельницу. Бригадировать поручили Горке Малину, парню шустрому и в мельничных делах смекалистому. Отец Горки — Федор Малин когда-то работал в Майорке, недалеко от Алексеевки, на крупной мельнице купца Петрова. Там в первые же годы Советской власти организовалась коммуна. Федор Малин был ее председателем. Беда на коммуноу свалилась неожиданно. Налетела охранюковская банда, уничтожила почти всех коммунаров. Горкиного отца, как вожака коммуны и большевика, живого, с привязанным к ногам камнем, бросили в пруд, мать застрелили. Случайно оставшийся в живых Горка несколько дней скрывался в лесу, жил в Майорке, а в ночь, когда полыхала мельница в Алексеевке, пришел сюда, стал работать вместе с Глебом в сельсовете.

Группа молодежи во главе с Наташей Литягиной, недавно принятой в комсомол, девушкой энергичной, веселой и первой певуньей, направилась с песнями сажать деревья в парке «Свобода».

Аня и Глеб Кречетов остались в селе, чтобы распоря-

даться работами по ремонту жилищ и организовать подвозку топлива.

На субботник пришел и Митя Жижин. Он уже с неделю как начал ходить. Рана оказалась неопасной. Пуля, слегка задев правое легкое, прошла навывлет. Но он был еще так слаб, что посиневшие губы еле шевелились, когда он проговорил:

— Я бы на мельницу пошел...

— Куда тебе! — возразила Аня. — Иди-ка в тепло, а то еще простудишься. Вон она, погода-то какая!

Обильно сыпалась крупа — предвестник наступающей зимы, дул холодный, пронизывающий ветер.

Направляясь к клубу, Митя сказал:

— Ну, ладно... Я посижу тут.

На мельнице бойко застучали топоры, заработали пилы. Горка мастерил деревянные гнезда для водяного колеса, когда к нему подошли Михаил Рублев и Зинка.

— На работу опоздавших принимаете? — спросил Рублев.

Горка молчал. Он впился глазами в Зинку, вспоминая, где ее видел... «Такое же вот красивое лицо, шаль с замысловатой расцветкой...» А Зинка сразу в Горке Малине узнала того парня, на которого она наткнулась недалеко от мельницы в ту памятную ночь. Лицо ее покрылось мертвенной бледностью, на лбу выступил пот. Она отвернулась от него, пряча свое лицо в шаль.

— Принимаем, — наконец ответил Горка. — Вон, — показывая на груды горбылей, приказывал он, — таскайте их к главному корпусу, а дальше что делать — видно будет. «Где же я видел эту девицу? — терзался догадками Горка. — Вспомнил! — вдруг блеснула у него мысль. — Она! Это она бежала от мельницы, когда там раздался выстрел!»

Он незаметно покинул мельницу и — в село. Забежал в клуб, обрадовался, что застал здесь Митю Жижина.

— Скажи, Митя, — с места в карьер начал Горка, — кто стрелял в тебя? Баба?

— Баба.

— Лицо приметил?

— Нет. Помню, как вышел из избушки... Выстрел... Я упал и увидел только спину убегавшей от меня женщины. Больше ничего не помню.

— Ясно! Все ясно, Митя! — заключил Горка. — Это она, стерва! Ее рук дело! — И он побежал разыскивать Глеба.

— Еще одна улика, — обрадовался Глеб, выслушав Горку. — Хорошо: конец веревки теперь в наших руках, попробуем вытянуть ее всю. Что теперь будет говорить Фома Синица?

Фома Ильич был арестован наутро же после пожара, подозреваемый в поджоге бывшей своей мельницы и в покушении на Митю Жижина. На допросе в политбюро (так назывались тогда органы чека в сельской местности) Синица, однако, поклялся всеми святыми, что он к этому делу не причастен. Ему показали обрез, найденный при обыске у него на квартире, и осколок винтовочного ложа, о потере которого он так долго сокрушался. Еле ворочая языком, Синица только и мог проговорить:

— Господи боже мой, грех-то какой.

Но Лунева... нет, он не собирался убивать. Так только пострадать хотел.

— А Митю Жижина?

И Фома Ильич, опять перекрестив широкую грудь, поклялся:

— Тут моего греха нет...

...Зинка, как только они подошли к штабелю горбылей, повисла на Мишке и дрожащим голосом завопила:

— Мишенька, пропали мы!.. Он меня признал...

— Кто, кого признал? — насторожился Рублев. — Говори толком, дура!

— Он, этот парень, который тут старшой. Он меня видел тогда... когда я в Митьку стреляла...

Она заплакала, попыталась обнять Мишку. Он с силой оттолкнул ее от себя.

— Ну, рассопливилась! Артистка... Дай ей, видите ли, большую роль. Дали! Так вот играй ее до конца! — Мишка не говорил, а зло шипел: — Больше ни звука об этом парне, о том, что ты стреляла, поджигала. Не было этого! Понятно? Язык на замок! А не то я заставляю тебя замолчать... навсегда!

Рублев уже после ареста Синицы чувствовал себя не в своей тарелке. А вдруг проговорится старик: скажет, как он, Михаил Рублев, однажды ночью собрал в доме Синицы бывшую «знать» Алексеевки, и там был решен вопрос об убийстве Глеба Кречетова, комсомольца Жижина, поджоге мельницы и других делах. Но... Синица дал клятву: что бы ни случилось, он унесет эту тайну с собой в могилу. Ему можно верить — человек он религиозный, убежденный враг

Советской власти. А вот Зинка... слякоть! По ее милости, пожалуй, и ему не миновать участи своего приемного отца.

— Сейчас же ступай к Пьянову, — приказал он Зинке. — Скажи, чтобы он сегодня ночью собрал всех наших... ну, ты знаешь кого. Обсудим, как нам вести себя дальше.

Вскоре он и сам покинул мельницу. Надо было хорошенько обдумать создавшееся положение. Рублев теперь раскаивался в том, что связался с Зинкой. «Расплакалась... растерялась, проститутка чертова, — думал он. — Теперь сразу же признается во всем и всех потопит... Варька бы так себя не вела. Эта умрет — не выдаст».

Варька Наумова работала на почте. Была по уши влюблена в Рублева и беспрекословно выполняла любое его поручение. Варька же задерживала и передавала Рублеву письма Лунева к Ане и от нее к нему. Именно эти письма, сердечные и теплые, натолкнули Мишку на мысль послать Луневу анонимку.

Занятый своими тревожными мыслями, Рублев неожиданно наскочил на Горку Малина, возвращавшегося из села на мельницу.

— Уже наработался? — спросил Горка и упрекнул: — Маловато.

— Да что-то нездоровится, — оправдывался Мишка. — Я все отработаю завтра...

— Ну-ну... ладно, — снисходительно заметил Горка. — Да мы сегодня всю работу прикончим, не беспокойся.

«И ничего-то он не знает, — подумал Рублев о Горке, как только тот исчез. — Откуда она взяла, что он ее узнал? Неврастеничка... Всего боится. Нет, пропадешь с ней... Надо скорее убираться отсюда. Жаль вот, Глебку не пристукнули. Ну да это Пьянов сделает — у него рука крепкая, не дрогнет...»

Рублев уже мечтал, как он вернется в Оренбург, оттуда поедет в Москву, зайдет во французское посольство, встретит там Пьера Монне, с которым встречался в Самаре, когда там хозяйничали взбунтовавшиеся чехословаки и белые офицеры, и напомним ему о его обещании: «За каждый умер большевик мы будем платить хорошо. Ви будет в Париже самый герой, вам...» «Так вот, — скажет теперь ему Рублев. — Оплатите счет. Нет, — он ему иначе скажет: — Дайте еще денег. и я в Оренбурге продолжу охоту за большевиками. А в Париж потом...»

— Руки вверх!

Мишка остолбенел. Перед ним неожиданно оказался Глеб Кречетов с наведенным на него «кольтom».

Напрасно, выходит, тешил себя Рублев тем, что Горка «ничего не знает». Нет! Заподозрив Зинку в поджоге мельницы и покушении на Митю Жижина, он сразу понял, кто направил Зинкину руку. Он и настоял на том, чтобы арестовать их — Зинку и Мишку — в тот же вечер.

Вслед за Мишкой в политбюро привели Зинку в сопровождении Горки Малина. Мишка окинул ее таким злобным взглядом, что она начала кричать:

— Уберите его! Он убьет меня! Это он велел мне убить Митьку и сжечь мельницу! — Заливаясь слезами, она продолжала выкрикивать:

— Он обещал увезти меня в Москву, сделать артисткой, а сам путался с Варькой. Да, да! Я знаю! Я все знаю, я все расскажу!

Глеб и Горка возвращались домой уже ночью. С неба падал мягкий и легкий, как пух, первый снег.

— Ну вот и наступил конец осенней слякоти, — с чувством облегчения сказал Глеб.

ВСТРЕЧА

Вот она и станция Карагдаш!

Почти два года не был Лунев в родных местах. Перед остановкой он вышел в тамбур старенького скрипучего вагона, у которого добрая половина окон вместо стекла была забита фанерой. Пассажирские поезда только что стали ходить по этой линии. Разрушенные и сожженные кое-где здания вокзалов и путевых казарм, выступающие из-под начавшего таять снега черные бугорки опустевших окопов напоминали о минувших днях гражданской войны.

Ника, как только завидел знакомый шпиль уцелевшей водокачки на станции Карагдаш, не дожидаясь остановки, прыгнул с поезда. Здесь было много встречающих и провожающих, а вот своих, алексеевских, что-то не видать. «Пойду пешком, — решил он, — к вечеру доберусь до дому...»

Было теплое апрельское утро. Солнце начало уже растапливать прихваченный утренним морозцем ненадежный снег. Ника, минуя пристанционный поселок, вышел на большак. Вдали показалась подернутая утренней дымкой полоса прибрежного леса. «Только бы пройти на тот берег Сакмары, а

там рукой подать», — подумал он, с трудом преодолевая с каждой минутой все более раскисавший на дороге снег. Вот и Воскресенка. От нее даже сюда доносится запах такого домашнего и уютного кизячного дымка. И оттого, что скоро, скоро он будет дома, встретится со своими, что так ярко и ласково светит апрельское солнце и что вокруг дышит миром и покоем, у Ники было весело и радостно на душе.

Он ускорил шаг, насвистывая походную песенку.

— Эй, служивый! — вдруг услышал Лунев чей-то окрик и тяжелое посапывание лошади за спиной.

— Куда путь держишь?

— В Алексеевку!.. Ба! Да это, никак, дедушка Никанор? — Лунев по пегой бороде и старинному, изрядно потрепанному треуху, с которым дед обычно и летом не расставался, узнал Никанора Савватеевича Литягина.

— А вы чей будете? — осведомился старик, разглядывая статную фигуру военного, одетого в новенькую, серого солдатского сукна шинель. Из-под буденновки с широкой, почти во весь лоб звездой на деда Никанора глядело открытое со смеющимися голубыми глазами, ярким румянцем на слегка обветренных щеках лицо молодого человека.

— Батюшки мои! — признал наконец дед. — Да ведь это ты, Микит?.. Как же это я? Да разве тебя сразу-то признаешь в такой амуниции? А вырос как! Нет, — затараторил Никанор Савватеевич, — прямо скажу тебе: вроде бы ты и... не ты. У нас ведь бабы болтали, что ты сильно раненный и без памяти лежишь...

— Было такое, — согласился Лунев, — только не раненый, а простудился я малость. Пришлось поваляться в госпитале... Да это уж давно прошло, дедушка.

— Да и я теперь вижу, что прошло: вон какой здоровяк! Мать, Авдотья Васильевна, теперь, поди, и не признает тебя. Да что же мы стоим? — засуетился старик. Он раструсил по развальням небольшую охапку сена и любезно предложил: — Садись, довезу! Домой-то отбивал телеграмму? Нет?.. Зря! Лошадей бы казенных прислали за тобой, а теперь вот придется тащиться на моей жар-птице, а при твоей-то теперешней видимости на таком одре ехать вроде бы и неспособно... Ну, ничего, не сумлевайся, — успокоил дед, — это она, — хвастался он, показывая на лошадь, понуро опустившую голову, — только в дороге прибудняется, а как в Алексеевку заедем, такие кренделя зачнет выкидывать, что рублевские жеребцы бы позавидовали...

— Как он теперь... Рублев-то? — спросил Лунев.

— Решка выпала ему, — сообщил дед, — самого давно заарестовали, и об нем с той поры ни слуху, ни духу. Да и век бы о нем не слышать больше, — добавил Никанор Савватеевич. — Вредный был мужик. Да и сынок, видать, в батю пошел — натворил тут делов немало...

Старик начал рассказывать о том, что произошло в Алексеевке за эти годы. Многое уже было известно Луневу. Глеб Кречетов после ареста Мишки Рублева и Зинки написал Нике подробное письмо, в котором между прочим говорилось и о том, как Рублев перехватывал письма Ани и Лунева... «Но почему Аня и после этого не написала мне ничего? — недоумевал Ника. — Обиделась...»

— Ну, а как там учитель Александр Андреевич поживает? — нарочно спросил Ника о нем, а не об Ане, зная, что старик непременно скажет и о ней.

— А что ему делается? Живет, ребят учит. Теперь ведь не только малые, все как с ума посошли — в ученые лезут. Дочка учительская мутит головы-то всем. Ликбезы какие-то выдумали... И сидят там с тетрадями и грифельными досками бабы и мужики: аз, буки, веи заучивают. Ну, скажи, к чему это? Баловство одно. А еще вот что надумала учителяева дочка: молодым ребятам и девкам, говорит, в город надо ехать учиться. Видал, какую линию гнет? Ну, моя внучка-то, Наташка, и попадись на эту удочку — уехала в Оренбург. Вчера отвез ее на станцию — на побывку приезжала. Да она и сама, Аня-то, хотела с моей внучкой уехать в Оренбург, да приболела.

«Приболела... Что же с ней?» — тревожился Ника. Спрашивать старика бесполезно. Он без умолку рассказывал деревенские новости.

Они давно уже проехали Сакмару, въехали на последний пригорок, с которого была видна алексеевская церковь с светящимся из белой жести куполом, а дед все говорил и говорил...

— Это, конечно, хорошо, что укорот дали Рублевым, Синице и прочим нашим богатеям, — продолжал Никанор Савватеевич. — Правильно опять же землю у них и у барина отняли и по беднякам поделили. Теперь вроде и мы людьми стали. Силу почувствовали. Все это я приветствую. Но больно уж шумно мы стали жить. Теперь наша Алексеевка как потревоженный улей. Раньше-то как было? С вечера, бывало, не в каждом доме и огонь-то зажигали. Коль

ночь пришла — спи. А теперь? То собрание, то рыксымы спектаклю показывают, то опять же эти ликбезы... А к чему все это?

Подъехали к больнице. Ника попросил деда остановиться. Отсюда начиналось село. Поблагодарив Никанора Савватеевича, он слез с розвальней, вскинул на плечи вещевой мешок и направился в сторону от большой дороги, напрямую к дому. Дед обиделся:

— Стало быть, стеснительно на кобылке-то по селу ехать? Зря! Увидел бы, как резво она тебя к дому подвезла...

Ника, смеясь, успокоил старика:

— Да что вы? Я тут скорее дойду... До свидания! Наведывайтесь к нам!

Он шел по знакомым улицам и переулкам, сопровождаемый невесть откуда появившимися любопытными ребятишками.

— Это он, Микишка Лунев! — доказывал один.

— Не... Это комиссар приехал! — возражал другой.

Так с этой толпой ребятишек и вошел он во двор своего небольшого, огороженного плетнем дома.

Авдотья Васильевна в окно наблюдала, как какой-то военный с толпой ребятишек идет к ее дому. Материнским чутьем поняла, что это он, ее любимый Микитушка. Не помня себя, она выбежала во двор и, наверно, упала бы без чувств, если бы не подхватил ее сын на руки.

— Микитушка мой родненький, ты ли это? — она гладила и целовала его лицо, волосы, омывая их своими слезами. — Радость-то какая!.. Да что же я сижу, — спохватилась она. — Ты, наверно, голодный. Я сейчас!..

Но она никак не могла наглядеться на сына...

— Мама, успокойся и посиди. Я сам займусь самоваром. А еще лучше: пойді скажи Глебу, Мите Жижину, ну... и всем нашим. Хочется их повидать.

Авдотья Васильевна ушла. «Догадается ли она зайти к Ане!» — подумал Ника, наливая воды в самовар.

Прибежал Глеб. Они крепко обнялись, расцеловались.

— О! — заметив на груди Ники орден Красного Знамени, удивился Глеб. — Вот это да! А ведь молчал... Ну, поздравляю, поздравляю! Надолго к нам?

— Может быть, и насовсем.

— Почему «может быть»?

Ника объяснил:

— Война кончена, как ты знаешь. Теперь почти всех распускают по домам. Но мне и Пете Ломову, помнишь его, предложили пойти в военное училище. Я еще не решил: стать ли военным или остаться с вами.

Глеб рассказал, что Алексеевка стала районным центром, что он теперь руководит партийной организацией района, а Аня Мешкова — комсомолом. Он советовал Луневу остаться в Алексеевке.

— Ты завоевывал Советскую власть, — сказал Глеб, — тебе и надо руководить ею, укреплять ее.

Пришел Горка Малин.

— Это он распутал рублевский клубок, — сказал Глеб. Вернулась Авдотья Васильевна. С ней пришел Митя Жижин.

— А у нас заседание райкома шло, — здороваясь с Никой, сказал Митя. — Ребята еще там, а я вот — сюда. Какой ты большой стал.

Пришли еще ребята, друзья Ники, соседи. Разговорились. Ника все время поглядывал на дверь: «Неужели не придет? Неужели конец, и он никогда больше не услышит ее ласковых слов, не прижмет к своей груди ее русую голову?».

Дверь открылась. Вошла Аня. Она на миг остановилась, окинув взглядом собравшихся за столом. Ника встал. И как будто чьи-то невидимые руки толкнули их друг к другу. Аня с прежней доверчивостью обняла Нику, уткнулась головой в его грудь. Спазмой сдавило горло Ники. Он молча гладил ее волосы, роняя на них крупные капли слез.

Это были слезы радости, счастья, любви.
